

УДК 821.111-312.6(73)

ББК 84(7Coe)-44

С 81

Серия «Зарубежная классика»

Irving Stone  
THE AGONY AND THE ECSTASY  
A BIOGRAPHICAL NOVEL OF MICHELANGELO

Перевод с английского *Н.В. Банникова*

Компьютерный дизайн *Э.Э. Кунтыш*

Печатается с разрешения издательства Doubleday, part of  
The Doubleday Publishing Group, a division of Random House, Inc.  
и литературного агентства Andrew Nurnberg.

**Стоун, Ирвинг.**

С81 Муки и радости: биографический роман о Микеланджело / Ирвинг Стоун; [пер. с англ. Н.В. Банникова]. — Москва: Издательство АСТ, 2019. — 960 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-110661-4

Микеланджело Буонаротти.

Величайший скульптор, художник и поэт эпохи Возрождения. Создатель легендарного «Давида» и фресок Сикстинской капеллы.

Он познал и прижизненную славу, и богатство, и зависть врагов, и ненависть ханжей и религиозных фанатиков.

Его личная жизнь считалась скандальной и непристойной. Его творчество порой шокировало и возмущало. Его благополучие полностью зависело от капризов князей Церкви, которые были его заказчиками...

Почему Микеланджело постоянно существовал на грани — между творчеством и саморазрушением?

И наконец, что давало ему силы вновь и вновь бросать вызов судьбе?

УДК 821.111-312.6(73)

ББК 84(7Coe)-44

© Irving Stone, 1961

© Перевод. Н.В. Банников, наследники, 2009

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

# Книга первая МАСТЕРСКАЯ

## 1

Он сидел в спальне на втором этаже, смотрел в зеркало и рисовал свои худые, с резко проступавшими скулами щеки, плоский широкий лоб, сильно отодвинутые к затылку уши, спадающие к надбровью завитки черных волос, широко расставленные янтарного цвета глаза с тяжелыми веками.

«Как скверно у меня построена голова, — сосредоточенно размышлял тринадцатилетний мальчик. — Все не по правилам. Линия лба выступает вперед гораздо дальше рта и подбородка. Видно, кто-то забыл воспользоваться отвесом».

Он слегка подвинулся к краю кровати и, стараясь не разбудить четырех братьев, спавших тут же, за его спиной, навострил уши: с виа делль Ангуиллара вот-вот должен был свистнуть ему приятель Граначчи. Быстрыми взмахами карандаша он принялся исправлять свой портрет — увеличил овалы глаз, придав округлую симметричность лбу, чуть раздвинул щеки, губы сделал полнее, а подбородок крупней и шире. «Вот теперь я выгляжу гораздо красивей, — решил мальчик. — Очень плохо, что лицо, если оно тебе уже дано, нельзя перерисовать, как перерисовывают планы фасада нашего собора — Дуомо».

Из высокого, в четыре аршина, окна, которое мальчик отворил, чтобы впустить свежий утренний воздух, послышались звуки птичьей песенки. Он спрятал рисунок под валиком кровати в изголовье и, бесшумно спустившись по каменной винтовой лестнице, вышел на мостовую.

Франческо Граначчи исполнилось уже девятнадцать лет; это был русоволосый юноша с бойкими голубыми глазами, ростом выше своего младшего друга на целую голову. Гра-

наччи уже с год как снабжал мальчика карандашами и бумагой, не раз давал ему приют у себя дома, на виа деи Бентаккорди, дарил ему гравюры, стянув их потихоньку в мастерской Гирландайо. Хотя Граначчи был из богатой семьи, его с десяти лет отдали в ученики к Филиппино Липпи, в тринадцать лет он позировал для центральной фигуры воскрешаемого юноши в фреске о Чуде святого Петра в церкви дель Кармине, — эту фреску Мазаччо оставил незаконченной, — теперь же Граначчи пребывал учеником у Гирландайо. К своим занятиям живописью Граначчи относился не слишком серьезно, но у него был острый глаз на чужие таланты.

— Ты в самом деле не струсил, пойдешь со мной? — нетерпеливо спросил Граначчи у вышедшего к нему приятеля.

— Да, это будет подарок, который я сделаю себе к дню рождения.

— Чудесно!

Граначчи взял мальчика под руку и повел его по виа деи Бентаккорди, огибающей огромный выступ древнего Колизея; позади высились стены тюрьмы Стинке.

— Помни, что я говорил тебе насчет Доменико Гирландайо. Я состою у него в учениках уже пять лет и хорошо его знаю. Держись с ним как можно смиренней. Он любит, когда ученики оказывают ему почтение.

Они повернули уже на виа Гибеллина, чуть выше Гибеллинских ворот, обозначавших черту второй городской стены. По левую сторону оставалась могучая каменная громада замка Барджелло с многоцветным каменным двором правителя — подесты, затем, когда друзья, взяв правее, вышли на виа дель Проконсоло, перед ними возник дворец Пацци. Мальчик провел ладонью по шершавым, грубо обтесанным камням стены.

— Не задерживайся! — подгонял его Граначчи. — Теперь самое удобное время, чтобы поговорить с Гирландайо, пока он не углубился в работу.

Торопливо отмеряя широкие шаги, друзья продвигались по узким переулкам, примыкавшим к улице Старых Кандалов: тут подряд шли дворцы с резными каменными лестницами, ведущими к дверям с глубоким навесом. Скоро друзья были уже на виа дель Корсо; по правую руку от себя, сквозь

узкий проход на улицу Тедалдини, они разглядели часть крыши Дуомо, крытой красной черепицей, а пройдя еще квартал, увидели, уже с левой стороны, дворец Синьории — арки, окна и красновато-коричневую каменную башню, пронзающую нежную утреннюю голубизну флорентинского неба. Чтобы выйти к мастерской Гирландайо, надо было пересечь площадь Старого рынка, где перед прилавками мясников висели на крючьях свежие бычьи туши с широко раскрытыми, развороченными вплоть до позвоночника боками. Теперь друзьям оставалось миновать улицу Живописцев и выйти на угол виа деи Таволини — отсюда они уже видели распахнутую дверь мастерской Гирландайо.

Микеланджело задержался на минуту, разглядывая статую Святого Марка Донателло, стоявшую в высокой нише на Орсанмикеле.

— Скульптура — самое великое из искусств! — воскликнул он, и голос его зазвенел от волнения.

Граначчи удивился: ведь они знакомы уже два года, и все это время друг скрывал от него свое пристрастие к скульптуре.

— Я с тобой не согласен, — спокойно заметил Граначчи. — И хватит тебе глазеть — дело не ждет!

Мальчик с трудом перевел дух, и вместе они переступили порог мастерской Гирландайо.

## 2

Мастерская представляла собой обширное, с высоким потолком, помещение. В нем остро пахло красками и толченым углем. Посредине стоял грубый дощатый стол, укрепленный на козлах, вокруг него сидело на скамейках с полдюжину молодых учеников с сонными лицами. В углу, около входа, какой-то подмастерье растирал краски в ступе, а вдоль стен были свалены картонные, оставшиеся от написанных фресок: *Т а й н о й В е ч е р и* в церкви Оньисанти и *Призвания Первых Апостолов* в Сикстинской капелле в Риме.

В дальнем, самом уютном, углу сидел на деревянном возвышении мужчина лет сорока: в отличие от всей мастерской его широкий стол был в идеальном порядке — карандаши, кисти, альбомы лежали на нем один к одному, ножницы

и другие инструменты висели на крючках, а позади, на полках вдоль стены, виднелись аккуратно расставленные тома украшенных рисунками рукописных книг.

Граначчи подошел к возвышению и встал перед учителем.

— Синьор Гирландайо, это Микеланджело, о котором я вам рассказывал.

Микеланджело почувствовал, что на него устремлен взгляд тех самых глаз, о которых говорили, что они видели и запоминали в одно мгновение гораздо больше, чем глаза любого другого художника в Италии. Мальчик тоже поднял свой взгляд: его глаза вонзились в Гирландайо, это были не глаза, а пара карандашей с серебряными остриями: они уже рисовали на воображаемом листе и позу сидящего на помощи художника, и его васильковый кафтан, и красный плащ, наброшенный на плечи для защиты от мартовской стужи, и красный берет, и нервное, капризное лицо с полными пурпурными губами, и глубокие впадины на щеках, и сильные выступы скул под глазами, и пышные, разделенные прямым пробором черные волосы, спадающие до плеч, и длинные гибкие пальцы его правой руки, прижатой к горлу. Микеланджело припомнил слова Гирландайо, которые, как передавал Граначчи, он произнес несколько дней назад: «Прискорбно, что теперь, когда я начал постигать суть своего искусства, мне не дают покрыть фресками весь пояс городских стен Флоренции!»

— Кто твой отец? — спросил Гирландайо.

— Лодовико ди Лионардо Буонарроти Симони.

— Слышал такого. Сколько тебе лет?

— Тринадцать.

— Мои ученики начинают в десять. Что ты делал последние три года?

— Тратил понапрасну время в школе у Франческо да Урбино, зубря латынь и греческий.

Угли темно-красных, как вино, губ Гирландайо дернулись — это означало, что ответ мальчика ему понравился.

— Умеешь ты рисовать?

— Я умею учиться.

Граначчи, горя желанием прийти на помощь другу, но не смея признаться, что он таскал потихоньку у Гирландайо гравюры и давал их перерисовывать Микеланджело, сказал:

— У него прекрасная рука. Он изрисовал все стены отцовского дома в Сеттиньяно. Там есть такой сатир...

— А, мастер по стенным росписям, — усмехнулся Гирландайо. — Соперник для меня на склоне лет.

Все чувства Микеланджело были в таком напряжении, что он принял слова Гирландайо всерьез.

— Я никогда не пробовал писать красками. Это не мое призвание.

Гирландайо что-то хотел сказать в ответ, но тут же поперхнулся.

— Я тебя мало знаю, но если говорить о скромности, то ты наделен ею в должной мере. Значит, ты не хочешь быть моим соперником не потому, что у тебя нет таланта, а потому, что равнодушен к краскам?

Микеланджело скорее почувствовал, чем услышал, как укоризненно вздохнул за его спиной Граначчи.

— Вы не так меня поняли.

— Ты говоришь, что тебе тринадцать лет, а посмотреть — так ты очень мал. Для тяжелой работы в мастерской ты выглядишь слишком хрупким.

— Чтобы рисовать, больших мускулов не требуется.

И тут Микеланджело понял, что его поддразнивают, а он отвечает совсем невпопад и к тому же повысил голос. Все ученики, повернув головы, уже прислушивались к разговору. Через минуту Гирландайо смягчился: у него, по сути, было отзывчивое сердце.

— Ну, прекрасно. Предположим, ты для меня делаешь рисунок. Что бы ты нарисовал?

Микеланджело оглядел мастерскую, пожирая ее взглядом, как деревенские парни на осеннем празднике вина пожирают виноград, засовывая его в рот целыми гроздьями.

— Могу нарисовать вот хоть вашу мастерскую!

Гирландайо пренебрежительно рассмеялся, словно бы найдя выход из неловкого положения.

— Граначчи, подай Буонарроти бумагу и угольный карандаш. А теперь, если вы ничего не имеете против, я снова примусь за свою работу.

Микеланджело сел на скамейку около двери, откуда мастерская была видна лучше всего, и приготовился рисовать. Граначчи не отходил от него ни на шаг.

— Зачем ты выбрал такую трудную тему? Не спеши, рисуй как можно медленней. Может, он и забудет о тебе...

Глаза и рука, трудясь, помогали друг другу, они выхватывали из просторного помещения мастерской и заносили на бумагу самое существенное: длинный дощатый стол посередине с сидящими по обе его стороны учениками, помост, на помосте возле окна Гирландайо, склоненного за работой. Только теперь, впервые с той минуты, как Микеланджело переступил порог мастерской, он начал дышать ровно и спокойно. Вдруг он почувствовал, что кто-то подошел и встал у него за спиной.

— Я еще не кончил, — сказал он.

— Хватит, больше не надо. — Гирландайо взял листок и минуту разглядывал его. — Не иначе как ты уже у кого-то учился. Не у Росселли?

Микеланджело знал, что Гирландайо давно питает неприязнь к Росселли, своему единственному во Флоренции сопернику: у того тоже была художественная мастерская. Семь лет назад Гирландайо, Боттичелли и Росселли по приглашению папы Сикста Четвертого ездили в Рим расписывать стены только что отстроенной Сикстинской капеллы. Росселли добился расположения папы, угодив ему тем, что применял самую кричащую красную, самый яркий ультрамарин, золотил каждое облачко, каждую драпировку и деревцо, — и таким путем завоевал столь желанную им денежную награду.

Мальчик отрицательно покачал головой:

— Я рисовал в школе Урбино, когда учитель отлучался с уроков, рисовал и с фресок Джотто в церкви Санта-Кроче, и с фресок Мазаччо в церкви дель Кармине.

Потеплев, Гирландайо сказал:

— Граначчи говорит правду. Рука у тебя крепкая.

Микеланджело протянул свою ладонь прямо к лицу Гирландайо.

— Это рука каменотеса, — с гордостью сказал он.

— Каменотесы нам не нужны, у нас в мастерской пишут фрески. Я возьму тебя в ученики, но при условии, как если бы тебе было всего десять лет. Ты должен уплатить мне шесть флоринов за первый год...

— Я не могу вам уплатить ничего.

Гирландайо бросил на него пронзительный взгляд.

— Буонарроти — это не какие-нибудь бедные крестьяне. Если твой отец хочет, чтобы ты поступил в ученики...

— Мой отец порол меня всякий раз, как я заговаривал о живописи...

— Но я не могу тебя взять до тех пор, пока он не подпишет соглашения цеха докторов и аптекарей. И разве он не выпорет тебя снова, если ты заведешь разговор об ученичестве?

— Не выпорет. Ваше согласие взять меня послужит мне защитой. И к тому же вы будете платить ему шесть флоринов в первый год моего ученичества, восемь во второй и десять в третий.

Гирландайо широко раскрыл глаза:

— Это неслыханно! Платить деньги за то, чтобы ты соизволил учиться у меня!

— Тогда я не буду на вас работать. Иного выхода нет.

Услышав такой разговор, подмастерье, растиравший краски, оставил свое занятие и, помахивая пестиком, изумленно глядел через плечо на Гирландайо и Микеланджело. Ученики, сидевшие у стола, даже не притворялись, что работают. Хозяин мастерской и желающий поступить в ученики мальчишка словно бы поменялись ролями: дело теперь выглядело так, будто именно Гирландайо, нуждаясь в услугах Микеланджело, захотел поговорить с ним и позвал его к себе через посыльного. Микеланджело уже видел, как складывались губы Гирландайо, чтобы произнести решительное «нет». Он стоял не шелохнувшись, всем своим видом показывая и почтительность к старшему, и уважение к себе. Его устремленный в лицо Гирландайо взгляд словно бы говорил: «Вы должны взять меня в ученики. Вы не прогадаете на этом». Прояви он малейшую слабость и неуверенность, Гирландайо тут же повернулся бы к нему спиной. Но, наткнувшись на столь твердый отпор, художник почувствовал невольное восхищение. Он всегда старался поддержать свою репутацию обходительного, достойного любви человека и поэтому сказал:

— Совершенно очевидно, что без твоей бесценной помощи нам никогда не закончить росписей на хорах Торнабуони. Приведи ко мне своего отца.

На виа деи Таволини, где с самого раннего часа сутились и толкались разносчики товаров и шел оживленный торг, Граначчи ласково обнял мальчика за плечи:

— Ты нарушил все правила приличия. Но ты добился своего!

Микеланджело улыбнулся другу так тепло, как редко улыбался, его янтарные глаза с желтыми и голубыми крапинками радостно блеснули. И эта улыбка сделала то, что так неуверенно нащупывал карандаш, когда мальчик рисовал себя перед зеркалом в спальне: раскрывшись в белозубой счастливой улыбке, его губы словно бы налились и пополнели, а подавшийся вперед подбородок оказался на одной линии со лбом и уже отвечал всем требованиям скульптурной симметрии.

### 3

Идти мимо родового дома поэта Данте Алигьери и каменной церкви Бадиа для Микеланджело было все равно что идти по музейной галерее, ибо тосканцы смотрят на камень с такой же нежностью, с какой любовник смотрит на свою возлюбленную. Со времен своих предков этрусков жители Фьезоле, Сеттиньяно и Флоренции ломали камень на склонах гор, перевозили его на волах вниз, в долины, тесали, гранили, созидавая из него дома и дворцы, храмы и лоджии, башни и крепостные стены. Камень был одним из богатейших плодов тосканской земли. С детских лет каждый тосканец знал, каков камень на ощупь, как он пахнет с поверхности и как пахнет его внутренняя толща, как он ведет себя на солнцепеке, как под дождем, как при свете луны, как под ледяным ветром трамонтана. В течение полутора тысяч лет жители Тосканы трудились, добывая местный светлый камень — *pietra serena*, и возвели из него город такой удивительной, захватывающей дух красоты, что Микеланджело, как и многие поколения флорентинцев до него, восклицал: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо!»

Друзья дошли до столярной мастерской, занимавшей нижний этаж дома на виа дель Ангуиллара, в котором жило семейство Буонарроти.

— До скорого свидания, как сказала лисичка меховщику! — усмехнулся Граначчи.

— О, с меня наверняка спустят шкуру, но, не в пример лисичке, я останусь живым, — мрачно ответил Микеланджело.

Он завернул за угол виа деи Бентаккорди, помахал рукой двум лошадям, высунувшим головы из дверей конюшни на другой стороне улицы, и по черной лестнице пробрался домой, на кухню.

Мачеха стряпала здесь свое любимое блюдо *torta* — кулебяку. С раннего утра цыплята, зажаренные в масле, были изрублены в фарш, куда добавлялись лук, петрушка, яйца и шафран. Затем из ветчины с сыром, крупчаткой, имбирем и гвоздикой готовились равиоли — пирожки наподобие пельменей, — которые укладывались в цыплячий фарш вместе со слоями фиников и миндаля и аккуратно завертывались в тесто. Всему изделию придавалась форма пирога — его надо было лишь испечь, поместив на горячие угли.

— Доброе утро, *madre mia*.

— А, Микеланджело! У меня для тебя сегодня приготовлено что-то особенное — такой салат, что слюнки потекут.

Полное имя Лукреции ди Антонио ди Сандро Убальдини да Гальяно занимало на бумаге куда больше места, чем список ее приданого, иначе зачем бы такой молодой женщине выходить замуж за сорокатрехлетнего седеющего вдовца с пятью сыновьями и стряпать на девятерых человек, составлявших семейство Буонарроти?

Каждое утро она вставала в четыре часа и шла на рынок, стараясь поспеть к тому времени, когда на мощенных булыжником улицах начинали гроыхать крестьянские повозки, наполненные свежими овощами и фруктами, яйцами и сырами, мясом и птицей. Если она и не помогала крестьянам разгружаться, то облегчала кладь, выбирая себе товар прежде, чем он попадет на прилавок, — тут были самые нежные, сладкие бобы и *piselli* — горошек в стручках, превосходные, без малейшего изъяна, фиговые и персики.

И Микеланджело, и его четыре брата звали свою мачеху *la Mig-liore*, Несравненной, ибо все, что поступало к ней на кухонный стол, должно было быть только самым лучшим, несравненным. К рассвету она уже возвращалась домой, ее корзинки были полны добычи. Она не заботилась о том, как она одета, и не обращала никакого внимания на свое простое, смуглое лицо с еле заметным пушком на щеках и верхней губе и тусклыми, гладко зачесанными к затылку волосами. Но когда она ставила на уголья свою кулебяку и, вся раздумываясь, с волнением в глазах, важно и в то же вре-

мя грациозно ступала, идя от очага к глиняным кувшинам с пряностями, чтобы взять горсть корицы или мускатных орехов и присыпать ими корочку пирога, когда любое ее движение говорило, что для нее драгоценна каждая минута этого утра и что все у нее рассчитано до тонкости, тогда Микеланджело казалось, что она излучает сияние.

Микеланджело прекрасно знал, что мачеха была послушнейшим существом в семействе до тех пор, пока дело не касалось кухни: тут она превращалась в драчливую львицу, словно олицетворяя собой воинственного Мардзокко, геральдического льва республики. В богатую Флоренцию со всего света текли разнообразнейшие заморские редкие товары и пряности — алоэ, желтый имбирь, кардамон, тимьян, майоран, грибы, трюфели, молотый орех, калган. Увы, все это требовало денег! Микеланджело, спавший вместе с четырьмя своими братьями в комнате рядом со спальней родителей, не раз слышал, как еще до рассвета отец и мачеха, одеваясь к выходу на рынок, бранились друг с другом.

— Послушать тебя, так каждый день тебе нужен бочонок сельдей и не меньше тысячи апельсинов!

— Брось же скаредничать и выгадывать на корках от сыра, Лодовико. Тебе бы только складывать деньги в кошелек, а семья ходи с пустым брюхом.

— С пустым брюхом! Да ни один Буонарроти еще ни разу не оставался без обеда вот уже триста лет. Разве я не привожу тебе каждую неделю по теленку из Сеттиньяно?

— А почему мы должны каждый божий день есть одну телятину, когда на рынке полно молочных поросят и голубей?

В те дни, когда Лодовико приходилось сдаваться, он хмуро листал свои приходно-расходные книги, проникаясь уверенностью, что никогда уже не позволит себе съесть хотя бы кусок браманджерере: ведь птица, миндаль, свиное сало, сахар, гвоздика и дьявольски дорогой рис, закупаемые для этого блюда его легкомысленной супругой, разоряли семейство вконец. Но как только соблазнительные запахи из-под кухонной двери начинали прокрадываться через гостиную в его кабинет, он забывал свои страхи и дурные предчувствия, забывал свой недавний гнев, и к одиннадцати часам утра у него пробуждался зверский аппетит.

Лодовико поглощал сытнейший обед, отодвигал стул от стола, растопыренными пальцами хлопал себя по вздуше-

муся животу и произносил ту сакраментальную фразу, без которой прожитый день казался тосканцу тусклым и бесцельным:

— Ну и хорошо же я поел!

Выслушав столь лестное для себя признание, Лукреция прятала остатки обеда, чтобы сохранить их для сравнительно легкого ужина, приказывала служанке вымыть тарелки и горшки, затем шла к себе наверх и спала до самого вечера: ее день был закончен, все его радости исчерпаны.

Иное дело Лодовико: весь круг его утренних размышлений и последующего грехопадения повторялся в обратном порядке. По мере того как время шло, а пища переваривалась и соблазнительные запахи выветривались из памяти, его опять начинали грызть тягостные мысли о дороговизне изысканного обеда, и он снова впадал в мрачную ярость.

Микеланджело прошел через пустую общую комнату с тяжелой дубовой скамьей перед камином, около которого у стены стояли воздуходувные мехи и несколько кресел с кожаными спинками и сиденьями — все эти чудесные вещи некогда смастерил своими руками родоначальник семейства Буонарроти. Рядом с этой комнатой, выходя окнами тоже на виа деи Бентаккорди и на конюшни, был расположен кабинет отца: заполняя острый, в сорок пять градусов, угол кабинета, — ибо именно под таким углом тут, у каменного изгиба Колизея, пересекались улицы, — стоял треугольный стол, сделанный на заказ в столярной мастерской этажом ниже. Лодовико сидел за этим столом и терзался над своими пожелтевшими от старости пергаментными счетными книгами. Сколько Микеланджело помнил, единственным делом отца было раздумывать о том, как избежать лишних затрат и убытков и как сберечь жалкие клочки родового имения, основанного в 1250 году; от него оставались теперь лишь четыре десятины земли в Сеттиньяно да городской дом. Дом этот находился неподалеку отсюда, права Лодовико на него юристы оспаривали, и семья жила в наемной квартире.

Услышав шаги сына, Лодовико поднял глаза. Природа щедро одарила Лодовико лишь одним даром — пышными волосами: их обилие позволило ему отпустить великолепные усы, сливавшиеся с широкой, падавшей на грудь бородой. Седина уже заметно тронула голову Лодовико, лоб его про-